

АГАФОН И ТАИСЬЯ

Лев КОЖЕВНИКОВ
г. Казань

Рассказ

*Нет повести печальнее на свете...
(В. Шекспир, «Ромео и Джульетта»)*

1

За окном быстро смеркалось. Агафон Зяблых, грузный старик с сивой бородащей, годов, должно быть, за семьдесят, подкрутил фитиль в керосиновой лампе, чиркнул спичкой и водрузил на лампу стекло. Задёрнул занавеску. В дверь глухо торкнулись. Похоже, ногой, обувой в валенок. Агафон тяжело поднялся с лавки, пошёл отпереть. В клубах морозного воздуха в дверь протиснулась жена Агафона, Таисья, с большущей охапкой поленьев. Свалила дрова к подтопку. Агафон плотно закрыл за бабкой дверь. Снова сел на лавку за стол.

— Захолодало к ночи...

Отогревшись у печки, старуха принесла с загнеты чугунок с варёной картошкой. Порезала хлеб. Перекрестились...

Ужинали молча. Картошка. Льняное масло со жмыхом. Лук. Соль. Агафон принёс чайник, разлил кипяток по кружкам — себе, старухе.

Щепотью отмерил в кружки семейного чаю. Отужинав, снова перекрестился на образа и ушёл в свой угол, к кровати.

Старуха поставила квашню на печь, на тёплое. Укрыла поверх чистым полотенчиком.

— Тесто замесила. К завтраму дойдёт.

Она прикрутила фитиль на лампе и отправилась было к себе. Но снаружи, с улицы, вдруг взлаяла собака. Лай становился всё яростней, ожесточённее. С надрывом... То удалялся со слуха, то раздавался близко, под окнами. И вдруг лай превратился в истошный визг... Агафон поднялся с кровати. Проворчал:

— Волки никак? Ишь, наповадились по дворам шастать.

Не зажигая света, нашарил на подоконнике патрон, снял ружьё с гвоздя. И вышел на двор...

Но ни лая, ни визга уже не было слышно. Только глухое рычание и клубок из серых теней в полусотне шагов от крыльца. Агафон вскинул ружьё. Но вместо выстрела раздался глухой щелчок. Снова взвёл курок, и — сно-



ва щелчок. Размахивая ружьём как дубиной, тяжело, по-стариковски двинулся к рычащей своре.

— Итить вашу мать! Твари поганые. Счас... Вон отседова!

Сверкнули навстречу зелёные огоньки волчьих глаз. Но тотчас куча распалась, и тени растворились в темноте. Агафон склонился над местом схватки...

Старуха возилась с лампой, когда Агафон вернулся в избу, ступил через порог. Да так и охнула:

— Опять босый выскочил! Не молоденький, чай, балдокружить-то!

Агафон только рукой махнул.

— Порешили кобелька. Волчья сыть...

— Ох ты! Так а чего не стрелял-то по них?

Агафон переломил ружьё. Достал патрон. Долго рассматривал в свете лампы. Потом сунул патрон бабке под нос.

— А ты у его спроси. Поди, ровесник твой. Стреляй не стреляй — проку мало.

Он повесил ружьё на гвоздь. Тяжело опустился на кровать. Вздыхая и охая, бабка отыскала в сундуках полотенце и толстые вязаные носки. Подала Агафону.

— Вытирай ноги уже. Застудишься.

Сама же насухо вытерла Агафону ступни и натянула носки.

— Нет чтобы опорки обуть. Под порогом вона стоят. Поскакал дурень старый.

Но «старый», похоже, её не слышал. Только проворчал, укладываясь в постель под одеяло:

— Сидел бы во дворе. Гавкал... Нет, наружу выскочил. Волков ему драть надо.

2

Макеевка. Глухая вятская деревушка, десятка два домов, посреди леса. Внизу, под бугром, угадывалась речная извилина и уходящие за горизонт сизые, заснеженные леса с редкими проплешинами бывших делянок.

В последнюю военную зиму из-за метелей почту в Макеевку доставляли нечасто. До ближайшего жилья двенадцать верст с лишком, да ещё зимой, по целику... Но, когда доставляли, бабы, расхватав письма, газеты, всей деревней, с ребятишками набивались к старикам Зяблых

в избу послушать, что вычитал из газет дед Агафон, старый служивый. Как он сам говорил, ещё восемьсот девяносто седьмого года призыва.

Изба стариков Зяблых с наделом земли прописалась с краю, по-над яром. Туда и подтягивался сегодня местный люд — в основном бабы с ребятишками. Пробегаящий мальчонка в большой, не по размеру фуфайке со свисающими ниже колен рукавами сновал от избы к избе, стучал ногой в ворота.

— Почта! Почту принесли! Газеты, письма!

... В горнице народу набилось как сельдей в бочке. Заходили, рассаживались по лавкам, на печном приступке, на кровати. А кто и вовсе оставался стоять в дверях. Старик Зяблых сидел за столом. Перед ним лежали старая потрёпанная карта и газеты «Красная Звезда», «Правда», «Известия». Он внимательно вычитывал сводки с фронтов и долго водил корявым пальцем по карте, сопоставляя события. Кто-то из женщин, наскучив ждать, не выдерживает:

— Ой, да чё это будет-то? Сказывай уж... Не томи, Агафонище. Не железные, чай!

Но на неё тут же со всех сторон зашикали:

— Тсс! Не понужай, Анька. Тут разобраться надо.

— Агафон, старый солдат, зря не сбросит.

— То-то что...

Наконец Агафон поднял руку, призывая к вниманию.

— Вот, сводку читаю. Совинформбюро называется... «Передовые части 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева вышли к предместьям Кракова». Так, это когда? Это первого января было. Друга газета... «Красная Звезда». Эта неделей позже напечатана. Стоят наши. Уже неделю, больше? В этих самых, в предместьях. Артиллерия молчит. Танки тоже.

— А чего стоят-то?

— Да кто знает? Эти... коневцы... далеко вперёд зашли. Того гляди, в «мешок» угодишь.

Тогда фронт выравнивают. Может, тылы пототали. Или ещё чего.

— Дядя Агафон? А где такой Краков? Это за граница?

Мальчонка, тот самый в долгополой фуфайке, радостно высунулся вперед.

— Я... я знаю! Это в Польше! Нам по географии рассказывали.

Агафон кивнул.

— Верно малой говорит. Большой город.

Снова ткнул пальцем в газету.

— В «Правде» ещё такое пишут: «Наша пехота перехватила там немецкий обоз с минами и взрывчаткой. Несколько тонн». Видать, дело тут шибко нечисто. Взорвать хотят, не иначе.

— Кого взорвать-то? Краков?

— Вот же паразиты!

В горенке оживлённо загалдели каждый своё.

— Да ну её, эту Европу! Пушай сами освобождают себя.

Агафон не согласился.

— Не скажи, Петровна. Дурную башку не срубишь — три новые отрастут.

...Мало-помалу народ начал расходиться. Одна из женщин, одетая наспех, в лёгком не по сезону пальтишке, переминалась с ноги на ногу под окнами. Явно кого-то поджидала. Наконец, последними вышли старуха Зяблых и та самая Петровна, которая никак не соглашалась освобождать Европу. О чём-то ещё поговорили, и, попрощавшись, Петровна удалилась.

— Наталья, а ты чего тут стынешь, милая? Или забыла чего?

Женщина замялась, не зная, похоже, с чего начать. Смотрела в сторону.

— Таисья Егоровна... Я слышала, Шарика вашего... загрызли волки?

— Загрызли, милая. Загрызли дурашку. Выманили как-то со двора и уволокли.

Наталья всхлипнула.

— Тётъ Тась... Почтальонка наша побоялась вам на глаза показаться. Вот... Меня упростила передать.

Кое-как дрожащей рукой она достала из кармана пальто запечатанный сургучом конверт — похоронку. Вставила старухе в руку. И не видела, как утекает жизнь с лица Таисьи Егоровны. Боялась смотреть. Только дошли слова, похожие на стон.

— Ванечка... сына!

Старуха пошатнулась. Оперлась о крыльцо. Чуть оправившись, она медленно взошла по скрипучим ступенькам и убрела в избу, забыв закрыть дверь. Некоторое время Наталья глядела ей вслед, в чёрный дверной провал. Потом порывисто шагнула прочь, прикрывая варежкой заплаканное лицо.

По дороге она поравнялась с группкой соседак, которые со стороны, похоже, наблюдали за всей этой сценой. Петровна стояла тут же. Она и спросила:

— Передала?

Наверное, можно было не спрашивать. Всё было понятно без слов. Наталья молча кивнула, отворачивая зарёванное лицо в сторону. Ускорила шаг.

— Третья похоронка за зиму. Легко ли? — вздохнула вслед Петровна.

Её поддержали:

— Я бы, случись такое, с ума сошла.

3

Стого дня, когда старики Зяблых получили последнюю, третью по счёту похоронку, старый солдат занемог и почти не вставал. Он лежал тяжёлой глыбой на кровати, в углу, лицом к стене. Дышал хрипло, со свистом. Иногда заходил в глухом, надрывном кашле.

Вошла старуха с ведром воды. Поставила ведро на лавку возле двери. На ведро повесила ковш. Она, хоть и сильно сдала за последнее время, всё ж таки пересилила себя и вновь принялась хлопотать по хозяйству. Заслышав шаги, Агафон повернулся на спину. Блёклые и уже как бы не от мира сего глаза уставились в потолок, на расплзающееся по печной трубе, по побелке сырое пятно. Наконец спустил с кровати ноги. С трудом сел.

— Отец родной, ты бы поел чего? Картошки вон нажарила. Лепёшки ржаные.

Она поставила на табурет возле кровати сковороду с картошкой. Агафон мотнул головой и долго пил воду из кружки, обильно проливая на бороду.

— Одну воду пустую лычешь. Куда годится?

Агафон бессильно брякнул кружку на табурет. Отдышавшись, ткнул пальцем в сырое пятно возле трубы. Просипел:

— Прохудилась крыша. Подтекает.

И снова повалился на кровать. Лицом к стене.

— Эко, хватился когда, — укорила старуха.

— Март уж на дворе... Капельник. Глянь, целое ведро с потоку набежало. К колодцу не ходи.

Она постояла ещё, глядя в Агафонов угол. Слышит болезный — нет? И отправилась на двор...

4

Изба стариков Зяблых стояла на припёке — тремя окнами на юг. Завалина успела освободиться от снега, но ещё парила. И куча берёзовых чурбаков под окнами тоже наполовину вытаяла. Самое время колоть дрова, пока не захрясли. Тяжёлый колун бабке был уже не по силам, поэтому она втыкала в чурбак с размаху обычный топор, а потом стучала по обуху берёзовой балдой. Получалось не так споро, но дело двигалось.

Какой-то шум в избе насторожил старую. Она опустила топор. Прислушалась. На крыльцо, опираясь на подвернувшийся под руку кол, с трудом передвигая ноги, выполз Агафон. Встал, очумев от потоков солнца, от свежего весеннего духа.

— Батюшки-светы! — обрадовалась старуха.

— Встал... муромец. Слава те господи!

С помощью бабки Агафон сошёл с крыльца и уселся на завалину. Слушал, как звенит капель, падая капля за каплей перед его носом. Как талая вода под снегом собирается в ручейки и течёт вниз, в Таволжанку, подымая на себе лёд.

Нижние венцы сруба ветхой зябловской избёнки подёрнулись нежной изумрудной моховицей. Агафон долго разглядывал коварную зелень, потом кой-как нагнулся, поскрёб зелёное окаменелым ногтем.

— Сопрела окаянная. Вконец сопрела.

Агафонов указательный палец легко, словно в хлебный мякиш, вошёл в торец бревна, пошевелил там вбитый для какой-то надобы гвоздь. Старуха повздыхала и тоже села рядом передохнуть. Стянула с седой головы платок.

— Чу! Слышишь... нет? — Агафон поднял руку. — Токуют черти. С Манефинских выруббок никак?

Из-за реки, с противоположного берега, явно слышно раздавалось булькающее тетеревиное бормотанье.

— Токуют, значит...

Удовлетворённо покивал. С помощью старухи Агафон кое-как поднялся с завалины, и так вдвоём, держась друг за дружку, побрели в избу. Но добраться до постели сил не хватило. Изба вдруг качнулась, поплыла из-под ног, и Агафон тяжко, со стоном повалился на пол, подминая сунувшуюся было к нему старушонку...

Оказался дед Зяблых на редкость тяжёл, словно вытаявшая из-под снега осиновая колодина. Пришлось старой бежать за соседками, но и втроём насилу взгрозили его, едва живого, на кровать.

Проводив соседок, старуха поправила у Агафона подушки в изголовье. Проверила нетронутую сковороду. Сбрякала пустой кружкой.

— Что же ты, милоч, даже крошки не съел? Опять одна вода.

Агафон, похоже, услышал, но отозвался не сразу. Просипел из угла:

— Супчику бы мясного... тарелочку. А там и помереть.

Старуха только вздохнула.

— Да где ж его взять, мясного? Последнего петуха на деревне ещё по осени срубили. А из картошки лепи не лепи — мясо не слепишь.

Покрестилась старая на темноликую икону в красном углу. Пошептала молитву... Рядом на стене в самодельной рамке висели три фотографии погибших на войне сыновей Зяблых. Алексей, Егор, Иван. С траурной лентой наискось на каждой. Еловая ветка под фотографиями.

— Где-то теперь младшенький, Ванятка? Может, неприбранный лежит вовсе. Эдакие метели до самого Рождества держались, подика сыщи.

Перевела взгляд на другое фото, где все трое, её мальчишки, стоят в обнимку, положила руки на плечи друг другу. Весёлые.

Вздрагивая плечами, разом сгорбясь, старуха отправилась на двор.

5

Наутро она обегала все до единой избы, спрашивала мясного. Предлагали кто

крупы, кто мучицы, кто масла подсолнечного к картошке, а Анна Воронина, добрая душа, сунула ей тайком от дитёнков полдесятка окаменевших с мороза яиц. Постояла старая, постояла, глянула на жёлтые от недоедания, прозрачные мордочки — и трясущимися руками, торопясь, выложила на стол и яйца, и крупу, и масло подсолнечное. И, не слушая хозяйку, вышла вон.

Домой добиралась кой-как, едва переступала ногами. Раза два крепко спотыкнулась на ровном месте, набила о наст шишку, да так, что в голове загудело. И осталась сидеть, тупо глядя в схваченный морозом сугроб.

Рассвет быстро набирал силу. Уже алел восток над речкой, топились печи, гремела какая-то баба ведром по обмерзшему срубу, и откуда-то издалека-далека вдоль крутых берегов, чуть слышное, несло тетеревиное бормотанье. Небо с той стороны было весёлое, розовое, а запад по-прежнему был пугающе чёрным.

Заслышав бормотанье, старуха насторожилась, откинула со лба шаль. Вишь ты, и впрямь тетерев! Она резво поднялась на ноги и засемила к обрыву. Здесь, над речкой, бормотанье раздавалось ещё слышнее. Оно то усиливалось до булькающих, хмельных переливов, то снова глохло где-то далеко, в поросших ольшаником сизых делянках...

Дома, не успев ни отдышаться, ни переkreстить лба, старуха перво-наперво взгромоздилась на лавку, сняла с гвоздя дробовик. Жидкие седые косички, выбиваясь из-под платка, липли к лицу, лезли в рот. Держа дробовик, как ухват, поволокла к деду.

— Агафон... Агафоса?! Бормочет тетерев-то, окаянный, — едва не плача от радости, запричитала она в поросшее седым волосом ухо. — На Манефинских вырубках бормочет. Слышь-ко? Да пробудись ты, протри глаза-то скорее! Глянь... косачина рядом бормочет. Манефа-то где кривая сгибла, смекаешь? Версты две ходу.

Пока спросонья Агафон соображал, что к чему, старуха сбегала в чулан, принесла оттуда патронташ. Патронташ оказался пустой. Старуха шмякнула его под лавку, приволокла под полицы деревянный приступок от печи. Там, в пыли, хорошенько повозив по углам рукой, на-

щупала три латунных патрона, позеленевших от старости.

С помощью старухи, заходясь глухим кашлем, Агафон наконец сел. Один патрон он забраковал сразу. То ли воск подтаял, то ли ещё что, но пуля из него выкатилась. Да и на кой она ляд, пуля-то?.. Два других старик долго с сомнением изучал, скрёб позеленевшие капсули ногтем. В нетерпении старуха всё совала деду под нос ружьё.

— Лешего тебе в их, в патронах-то? Ты сюды вот, сюды глянь. Где тут чего? — наконец не выдержала. — Дурень ты старый, ведь улетит!.. Улетит окаянный! Давно уж бормочет.

Агафон даже головы не повернул. Он долго обмозговывал что-то, прикидывал про себя и уж потом, когда старой и вовсе стало невмоготу ждать, шевельнул седой бровью, глянул в её сторону.

— Ты, Таисья Егоровна, седьмой десяток в лесу живёшь, а никак в толк взять не можешь: твой косач с дерева, да ещё зимой, на белом за версту всё насквозь видит. Он тебя заметил, когда ты ещё по деревне бежала.

— Дак а чего делать-то? — расстроилась старуха.

— Блиновские Починки помнишь ли? После Блинова, когда помер, там Тимофей Дёмин покос держал. Вёрст пять отсель, больше не будет. А теперь мотай на ус... Ещё при Тимофее там ток был. Глухариков, почитай, десятка два. Выбить их Тимофей не выбил, потому как мужик с мозгой. Самку ни одну не трогал, заглавного токовика тоже не шевелил. Стало быть, ток сохранился. Их теперя там штук с полста, больше наплодилось. Так-то вот. А ближе, считай, ничего не сыщешь. Блиновские Починки — самое подходящее место.

И вдруг до Агафона дошло.

— Погоди... Погоди, мать. Не сама ли ты собралась?

— Дак а кому? На себя погляди. Вовсе дохлый. Дальше порога не убежишь.

Агафон махнул рукой:

— Пустая затея. Даже не думай.

Старуха молча надела зипун. Завязала оба патрона в платок и опустила в карман. Взяла ружьё.

— К Петровне пойдю. Она, в невестах ещё, часто со своим мужиком по охотам шастала. Покажет, как чего...

Агафон хмыкнул.

— Ну-ко, покажи, Таисья Егоровна, как выцеливать станешь? Покажи, покажи! Вон, в шапку...

Старуха кое-как приладила ружьё. Прикладом — под мышку. И принялась выцеливать шапку на гвозде у притолоки.

— Но, понятно. Ладно, сымай зипун. Курс молодого бойца тебе... Для начала.

Агафон забрал у старухи ружьё. Несколько раз приложил к плечу и наставил на шапку. Дал то же самое проделать старухе.

— Вот здесь, это мушка называется. А тут — прицел. Смотришь в эту прорезь на мушку. И наставляешь на шапку. Все три точки, Таисья Егоровна, — мушка, прорезь, шапка, — должны быть на одной линии. На носу себе заруби. Не то мимо пальнёшь. Теперь гляди...

Агафон сначала разобрал ружьё: отщёлкнул цевьё, отделил приклад от ствола. Собрал. Дал повторить бабке. Переломил ружьё, вставил патрон. Закрыл затвор. Дал повторить бабке. Патрон убрал. Взял курок. Нажал на спусковой крючок. Дал повторить бабке.

— Ну, «матчасть» с грехом пополам освоили. Дале слушай...

Начал объяснять старухе, как надо скрадывать глухаря. И зашёлся в глухом надсадном кашле.

— Опять не слава богу! Как разбирает-то его, бедолагу, — всполошилась старуха.

Помогла Агафону улечься. Поправила подушки, одеяло. Между приступами кашля Агафон просипел:

— Потом доскажу...

6

На следующее утро затемно старуха, засветив лучину, стала собираться на Блиновские Починки. Оба патрона, аккуратно завёрнутые в тряпицу, положила в один карман, а в другой — две варёные картофелины и кусок хлеба с солью. Агафон, скосив глаза, с беспокойством наблюдал за её сборами. Потом приподнялся на локте, вглядываясь в суетливую бабкину тень, прохрипел:

— Однако, неладно делаем. Зря ты, мать, это затеяла, — и зашёлся в кашле.

В разговоры старуха вступать не стала. Поправила лучину, пододвинула к Агафону чугун с картошкой поближе.

— Ты, касатик, тут не помри. Я как без тебя одна-то останусь? Кринка с молоком на столе. Наталья — у самой пятеро по лавкам! — принесла вчерась.

Начинало светать, когда она тронулась наконец со двора...

Агафон, кряхтя и охая, хватаясь за спинку кровати, за стол, пробрался к окну. Из опустевшей избы в окошко долго следил, как его бабка, маленькая, в чёрной до пят юбке, часто подпираясь батожком, засемила к обрыву. Наст под ней не проваливался, шла, как посуху, и охотничьи лыжи, вдетые одна в одну, с уложенным поверх дробовиком, волочились на веревочке сзади. Агафону словно кто на горло наступил: такая была она жалкенькая.

После ее ухода в пустой избе остались у порожка стоптанные домашние бродни носками чуть внутрь, один впереди другого, так что виделась деду за тем, как они стояли, вся ее поникшая с годами, скособоченная фигурка.

...С противоположного берега Таволжанки в сторону Блиновских Починков начиналась неширокая дорожка, по которой встарь вывозили на телегах железную руду. Вот по этой дорожке, которую в Макеевке почему-то называли Хорошавинской, и ударилась Агафониха, намереваясь достичь Починков до того, как наст под ногами начнёт оседать. Поначалу приходилось тяжельнюко, все в гору да в гору. А потом пообвыкла и за какой-то час отмахала километра три с гаком. И когда остановилась на полянке дух перевести да подняла глаза кверху — так и обомлела. Небо над полянкой разалелось, да по алому полю берёзки пушистые тонким серебром вытканы. Веточка не дрогнет. А как иней с какой осыплется, радуга в инистом облачке падает, мерцает до самого низу и словно бы в снег у комля уходит.

Много ли, мало ли проторчала старая под берёзами, как вдруг спохватилась — уже и небо голубым стало, — охнула и побежала дальше.

На Блиновские Починки, где Тимофей Дёмин покос держал да где лога крестом легли, добралась только к полудню. Снежная корка на открытых местах сильно размякла, начала проваливаться, и старуха насилу доволокла по сугробам отяжелевшие в непривычных мужских штанах ноги. Но потачки себе не дала, малость посидела на лыжах, передохнула и поднялась, пошла глухарей искать. Медленно двигалась она по гребню оврага в негустом еловом подросте. И чем глубже в овраг, тем сосняк становился реже, корявей, а подрост мало-помалу переходил в ельник, тоже, впрочем, негустой, с проплешинами и полянами. На другой стороне оврага, далёкой, залитой солнцем, ярко рдели в хвойнике медные стволы сосен, разворачиваясь по гребню весёлым жёлтым частоколом.

На одной из таких полян старуха заприметила полусгнившее остожье, обнесённое едва заметной из-под снега изгородью, и, сама не зная зачем, начала сползать по крутому склону вниз, то хватаясь за колючие ветки, торчащие из снега, то упираясь ногами в корявые тугие стволы. Здесь, на теневом склоне, наст держал крепко. Но, потеряв опору, старуха заскользила вдруг на спине, да так, что не чаяла уже и костей собрать. Наконец, вся измятая, исцарапанная, провалилась в какую-то заснеженную впадину и осталась лежать.

Лыжи с привязанным поперех дробовиком катились далеко вниз, звонко ударяясь о стволы. Кой-как оправившись, разговаривая сама с собой, старуха покорно полезла следом.

— Господи, господи! Да куда хоть, куда идти-то? Овраги эти окаянные, пока их обогнёшь, версты три крюку дашь, не меньше. По солнцепеку-то, по колену в снегу... Поди-ка отыщи, где у них нахожено. Это легко сказать — найти. А поди попробуй. Да и есть ли они тут, может, перелетели куда ино? Сам же, помнится, сказывал, с сосняка на сосняк кочуют, ежели почка местами помёрзла или ещё чего...

7

И вдруг старая споткнулась на полуслове. Да так с разинутым ртом и встала как вкопанная, боясь двинуться и даже шевельнуть рукой. Откуда-то сзади... сбоку, она сама не зна-

ла почему, но сразу так решила, кто-то упорно и тяжело смотрит ей в спину. От этого взгляда кожа на спине съёжилась, словно бы ее коснулись потными, ледяными пальцами...

Она только сейчас заметила, что стоит на неширокой, в пятнах солнца проплешине. Кругом ельник вперемежку с горькой осиной, и осинник помельче снизу начисто обглодан зайцами. Тут же, меж стволов, жёлтый заячий помёт.

Дрожа каждой жилкой, готовая вот-вот закричать, старуха медленно повернула голову и... ничего не увидела. А взгляд чей-то был, но теперь уже в лицо, и, как ей показалось, шёл из кустов, с дальнего угла полянки. Однако никого вокруг не было, разве лишь из-под снега перед кустами торчала как-то непонятно вывороченная коряга с бурым, в руку толщиной, обрубленным корнем. Старуха шевельнулась уже, хотела спрятаться и задом, задом убраться с окаянной поляны. И так бы, наверное, и сделала, но обрубок вдруг дрогнул и как бы слегка вытянулся чуть-чуть вверх... Мелко задрожавшей рукой, не решаясь поднять её выше, ко лбу, старуха трижды перекрестила себе живот. «Лешак знает, может, и почудилось чего с перепугу-то», — с тоскливой надеждой подумала она, уже не сводя с коряги напряжённых глаз. Но как только коряга утвердилась в поле её зрения, бурая кора на ней, словно бы выступая из тумана, покрылась вдруг пером, а корявый обрубок, который она вначале приняла за корень, стал шей с бородатым куриным утолщением на конце. Метрах в двадцати перед старухой сидел на снегу здоровенный, кряжистый глухарина. И наблюдал. Вытянутая вполоборота мощная шея, глаз-бусинка — всё дышало настроженным, внимательным любопытством...

Старая так и обомлела: «Вот уж воистину сказывают — не глазами, а головой человек видит. Сколько разов глазами натыкалась, разглядывала, а поди ж ты... Коряга и коряга. Тьфу! Пропади ты пропадом, как напугал, окаянный! Вишь, сидит, думает, поди: что, мол, за чуда за такая тут объявилась».

Спотыкаясь, проваливаясь на залитой солнцем полянке, старуха направилась пря-

мо к глухарю. Ей почему-то казалось, что она сейчас вот подойдет к нему, возьмёт, как курицу, под мышку и понесёт домой. Она даже представила себе, как появится с этаким-то добром дома. То-то старик обрадуется. Вишь, здоровущий какой, пожалуй, и не донести будет.

Глухарь краем глаза внимательно следил за старухой и, чем ближе она подходила, совсем по-куриному то втягивал, то вновь вытягивал шею. Когда же расстояние между ними сократилось до десяти шагов, он вдруг ворохнулся и, забавно переваливаясь на снегу, заковылял в сторону.

— Бусый... бусый... бусый... — встревожилась старая, всё ещё не веря, что глухарь может вот просто так взять и уйти.

И заметно наддала ходу. Однако с виду неуклюжий, глухарина передвигался довольно быстро. Его широкая спина уже замелькала в реденьких кустиках за полянкой.

— Буся... буся... буся... — Старая проворно продиралась сквозь кусты следом.

Глухарю наконец надоела эта глупая игра вдогонки. Он присел, подпрыгнул и, тяжёлый, каждым взмахом словно выстреливая из-под крыла, поднялся и низко полетел вдоль оврага в сторону. Старуха так и села в снег, едва не плача от обиды. Впрочем, глухарь не улетел далеко. Он сел шагах в семидесяти, с треском и грохотом забрался в самую густерню. И только сейчас старая спохватилась, что её ружье вместе с лыжами въехало куда-то в сугроб да там и осталось. Выбравив себя на чем свет стоит, кой-как поднялась и пошла к ружью. Но перед тем оглянулась ещё раз и хорошенько заприметила место, куда сел глухарь.

Дробовик свой вместе с лыжами она отыскала не сразу, а когда отыскала, оказалось, что ствол его до самого бойка забит снегом. Пришлось выламывать прут и ивовым прутом выковыривать из ствола снежную пробку. Пока разыскивала, ковырялась да пока возвращалась по размякшему снегу на старое место, времени прошло немало. И уж сколь ни лазила потом по этой проклятой густерне, волоча за собой ружьё, сколь ни тарашилась, ни озиралась, увидеть ничего не смогла. Глухарина словно в

воду канул. То ли улетел окаянный ещё дальше в лог, то ли затаился где, да так, что пока не наступишь на хвост, не выгонишь.

8

После этого лазанья у старой только-только хватало сил выбраться на солнышко да наломать поверх лыж пихтового лапника. Тут и прикорнула, свернувшись калачиком, задремала от усталости, едва приклонив на пихту седую голову. И уже сквозь дрему, не в силах ни разлепить глаз, ни пошевелиться, почувствовала, как ожил без неё огромный лес: какие-то отовсюду послышались шорохи, писк, чья-то перебежка, странное гуденье и в порывах ветра однообразный стон и скрип умершего на корню дерева. Тем временем солнышко успело откатиться на запад, запунцовело, и в его красноватых лучах сугробы окрасились в утомительный для глаза тревожный оттенок. Даже хвойники из ярких, почти изумрудных, стали тёмно-рыжими и отбрасывали на восток длинные тёмно-рыжие тени. Вдобавок ко всему сильно похолодало, и с запада порывами начал дуть стылый, пронзительный ветер.

Сон сразу как рукой сняло, и только сейчас старая поняла, почему ещё днём её потянуло к остожью: там, возле остожья, всё хоть немного человеческим духом пахнет, как будто и не совсем одна.

Завозилась старая, со скрипом в костях подымаясь с лежанки, снарядилась, куда бы бежать, да так и села. И слезы из глаз посыпались.

Куда бежать-то, куда?! Без толку всё, ноги только мять понапрасну. Да и Агафонушко не раз и не два сказывал, коли наброды глухаринные где сыскала, сиди себе и жди зорьку. И с места чтобы не двигаться. Как темнеть зачнёт, так они сами себя объявят. Тут уж ухо остро держи, не прокарауль песню.

Посидела старая ещё с полчаса, картофелину варёную сжевала, пососала хлебную корочку и, притомившись без дела, собралась идти. К тому же и сидеть на одном месте стало больше невмоготу. Так намерзлась, что на железное ружьё, воткнутое прикладом в снег, и глянуть холодно.

Мороз и в самом деле разыгрался не на шутку, зорька уже вполнеба, и из глубины оврага по склонам поползли вверх тяжёлые ночные сумерки. А глухарей всё нет и нет. Да ещё слова Агафоновы вспомнились: глухарь, дескать, утром поёт на восток, а к ночи — на запад, да не при всякой погоде ещё поёт. Если зорька сухая, морозная, да ветер навстречу дует, он так и просидит молчком, голоса не услышишь.

Затосковала старая, окончательно потеряв веру в глупую свою затею, и уже в который раз выбрала себя за того глухаря, которого днём так бестолково выпустила из рук. «Вот теперь и сиди тут, грызи локти-то. А то бы уж возле дома была. Ох, господи, дура набитая!»

Да тут ещё с осины, сверху откуда-то, капать начало. И без того знобко, зуб на зуб, кажись, не попадает. Утёрлась старая рукавичкой, отодвинулась, подумала про себя: «Может, хоть успею на дорогу выбраться, пока совсем не стемнело. А то ведь как отсюда, из оврага этого, выберешься, так и дух вон. Не молоденькая, чай, по горкам-то лазать».

И вдруг опять капнуло.

«Вот те на. Это откуда бы тут воде быть? Наст эвон какой схватился, конно пройдёшь, не обломится».

Глянула старуха вверх, и действительно, по осине, по стволу водичка струится. С нижней ветки капля по капле на неё падает. Потом перестало. Только было голову опустила, задумалась, мимо носа мелькнуло что-то и в снег шлёпнулось. Старуха даже вздрогнула. Посмотрела опасливо, нагнулась, рукой пощупала. Помяла... Тёплое... Понюхала — помёт!

«Батюшки-светы! — задрала старая голову к небу и давай глазами меж сучьев шарить. — Не иначе сидит кто? Откуда бы помёту взяться?»

Осина, под которую старуха ткнулась, когда надоело бродить по лесу, оказалась вплотную к ёлке, как бы в обнимку. Обе высокие и проросли ветками одна в другую. Чёрта лысого в такой густерне увидишь. Старая уж и так и эдак ладилась, и шею-то вытянет, и обнаружить-то себя боится, прямо в жар всю бросает. Потом спохватилась, как бы про ружьё опять не забыть, в карман полезла, тряпицу из кармана выудила. Патрон, который посветлее и вроде

бы понадежнее, достала. И за ружьё... А ружьё — ствол ледяной, пальцы липнут. Осторожно, стараясь не клацать, переломила и в ствол кой-как с трудом заклочила патрон окаянный... Не лезет. А как закрывать стала, лязгнул дробовик — прямо потом всю до пят прошибло... Затаилась старая, вздрогнуть боится, не скоро в себя пришла. Наконец, волоча ружьё, на карачках, тихо-тихо, как только можно, стала пятиться от осины, чтобы на красном небе, на зорьке, сучья резче просматривались. Отпятилась сажень десять за кустики, замерла.

Тишина-а... Ёлка с осинкой как на ладони, и ни-че-го!.. Ничегошеньки не видать. Уже глаза на лоб выкатились. Вроде каждый сучок, каждую веточку взглядом ощупала... Господи, господи, да откуда бы помёту-то взяться?

Старая буквально в пень обратилась и так, дрожа всем телом от холода и напряжения, просидела в кустах около часу, ловя каждый шорох, движение, любой подозрительный звук.

И дождалась...

В чёрных ветках сверху что-то ворохнулось с глухим коротким стуком и замерло. Зашуршала, падая, подпрыгивая на ветках, сухая еловая шишка, покатила по насту вниз. И снова что-то сильно ворохнулось. И снова замерло... Минут через пять из чёрного кружева ветвей, из-за стволов выдвинулось на зарю расплывчатое тёмное пятно и медленно начало продвигаться по осиновому суку вправо. Полетели вниз обломанные сухие веточки... Больше старая ждать не стала. Как только чёрное пятно и чёрный сук отпечатались на красном небе, она подняла ружьё и грохнула, не целясь, прямо в закат. Гром, пламя, страшный удар в плечо, и старуха, выронив ружьё, растянулась на твёрдом снегу. И тотчас на коленках, почти вслепую, сквозь кусты, напролом поползла к осине. Разноголосое, как отдалённый гром, эхо перекачывалось у самого горизонта.

Сквозь густое облако дыма она не видела, как, тяжело путаясь в ветках, цепляясь за них, ломая, падал глухарь, скатывался вниз. Как, скатившись, грянул оземь и забился бородастой головой о твёрдый наст, мелко-мелко дрожа лохматыми лапами. И затих, вытянувшись.

Увидев пустой сук, без пятна, старая вначале испугалась — куда подевался? Потом опомнилась, обежала вокруг осины... Её дичь, её добыча лежала тут на снегу, неловко подломив крыло, огромная и неподвижная, взятая с бою. Какой-то звериный, древний звук родился у старой в животе, в утробе и, помимо её воли, вырвался из гортани клекочущим, торжествующим смехом.

Несколько успокоившись, старуха вспомнила, что стреляла старым патроном, не целясь, и тщательно осмотрела добычу. Ни пятен крови, ни видимых следов дробы, кажется, не было. Чувствуя, как у самой все ещё звенит в ушах, лопаются что-то, усмехнулась, стягивая глухарию лапы гасником:

— Контуженной, поди? Эдак-то грохнуло.

9

Стараясь больше не терять ни минуты, не мешкая, принялась укладываться в дорогу. Наконец всё было готово, и, подхватив батожок, засемила старая по скрипучему насту вдоль оврага, держа закат постоянно с левой стороны. Но, сгоряча пробежав шагов полтора, почуяла, как глухарь, вздетый, словно котомка, через плечо, наливается непомерной тяжестью и до боли оттягивает ляжку. К тому же бородатая голова, как ни пыталась она подтянуть глухарину выше, волочится, стучаясь о пятки, а из клюва пузырится, мажется по снегу чёрная кровь. Пришлось остановиться и сделать из лыж какое-то подобие салазок, а добычу приторочить сверху на дробовик.

Пока старая возилась с лыжами, а потом выбиралась из оврага, путаясь в кустах, да пока отыскивала дорогу, по которой добиралась сюда утром, закат превратился в узенькую жёлтую полоску, едва сквозившую меж стволов. Подгоняемая темнотой, страхом, пробежала она в гору не меньше версты и, притомившись, наконец встала, с трудом переводя дыхание и озираясь. Постояла, поправила выбившийся из-под шали мокрый платок и уже медленнее тронулась дальше. Здесь было совсем темно, и только чёрный лес по обеим сторонам да белая расплывчатая дорожка кой-как ещё угадывались глазом. Так и шла, пугаясь то куста на до-

роге, то поворота, за которым непременно что-то таилось и должно случиться.

И вдруг, словно в подтверждение тоскливым мыслям, из-за спины в полуверсте, а может, и дальше, прорезался истошный собачий вой, и звук, словно бы истончаясь до комариного писка, иглой вошёл в череп. Старуху так с головы и до пят продрало морозом...

Встала как вкопанная. И не сразу поворотилась. А когда поворотилась, всё было тихо. Глянула вверх: на тёмном небе чёрные вершины раскачиваются, кивают. Выдохнула из груди спёртый воздух... Хрип, вой. Да что же это, в горле, что ли, воет? Ещё раз вздохнула-выдохнула... Воет. Откашлялась хорошенько и успокоилась. Почудилось, не иначе. Да и откуда бы тут собаке быть? Вой-то собачий? Да во все не собачий, а волчий вой... Волчий? Неуж волки?.. Да ведь почудилось же, в горле выло. Глаза у страха...

И уж одно к одному, вспомнилось старой, как на Рождество в прошлый год последнего кобелька на деревне, лохматого, дурашливого Шарика, вытащили у них из подворотни волки.

Вспомнила старая и опять перекрестилась: «Господи, господи, только бы на угор взойти, а там... Там уж и дома». Успокаивая себя, уговаривая, она шла всё быстрее и быстрее, порой едва не бежала, и, хотя действительно дышала хрипло, со свистами, воем, а всё не могла отделаться от тошнотворного страха: «а вдруг?»

Вскоре из леса и в самом деле показался угор, большая белая поляна с одинокой берёзой в центре, от которой хотя и отлого, но дорога шла уже вниз до самой Таволжанки. Поравнявшись с берёзой, старая было остановилась поправить одежду, вздохнуть... И вдруг опять, но явственнее и ярче, ближе и почему-то справа от дороги, а не сзади, точь-в-точь так же прорезался вой. И опять мороз продрал старую с головы до пят. Но уже не остановилась осмотреться, прислушаться, а что было сил, часто-часто подпираясь батожком, засемила с поляны прочь по узкой, едва заметной просеке в чёрную громаду леса. И всё равно не была ещё уверена вполне — вой или не вой? Ну, а если вой, то почему справа, а не сзади, не с дороги? И почему так близко?

И вдруг старуху поразила страшная догадка: ведь дорога-то на угор даёт сильного крюку, а они разделились... Одни сзади следом, а другие правее вдоль дороги и наперерез... Перекликаются. Да они же через пять минут будут здесь!

Вмиг старуха отяжелела, ноги стали ватными, и уже, как в кошмарном сне, казалось ей, что едва ползет она по бесконечной равнине — вся на виду, медленно двигая пудовыми ногами, а сзади огромными прыжками приближается, настигает, наваливается смрадное, зловонное... С клыками! Не смея ни обернуться, ни поднять глаза, старая остановилась, нагнулась над лыжами, деревянными пальцами отвязала глухаря, ружьё. Глухаря за спину, встала на лыжи и толкнулась, пошла, поехала под гору все быстрее, быстрее, быстрее. Она вспомнила вдруг, что метров через триста-четырееста дорога должна резко свернуть влево и ещё круче пойдёт вниз, а это значит, те, которые справа идут наперерез, останутся в стороне, далеко сзади.

Широко расставив лыжи, вглядываясь изо всех сил в стремительно выворачивающиеся кусты, зигзаги, старуха тенью скользила по мрачному лесу и сквозь шорох, скрежет лыж чутко ловила лесные звуки. Ветер сбил на затылок шаль, платок и, обжигая лоб, хлестал седые волосы.

И в третий раз, но теперь уже слева и много впереди в ушах всё тот же раздался вой...

Они, теперь стало ясно, шли цепью: справа, сзади и слева, и после поворота тотчас старуха выезжала на левое крыло цепи. Ещё минута и...

На миг, только на миг отвлеклась старая на вой, слегка поворотила голову, и тот же час случайная рытвина, перепад, и она, теряя равновесие, с треском раздирая на ленты зипун, вломилась в кусты и свалилась далеко за обочиной. Сверху зашуршало, посыпались на голову какие-то палки, сучья, сухой лист. Ещё не успев вскочить, старуха догадалась: повалила навес от дождя. До войны тут, помнится, драли корьё. Под ногой с сухим, звонким треском хряпнула ветка. Кол, попавший под руку, тоже оказался сухим и лёгким. Исцарапав руки, лицо, старая мигом сгребла всё в кучу и

со спичками в руках припала возле. В висках тяжело, часто бухала кровь. Старуха сжалась, ожидая вдруг прыжка, страшного удара в спину, смерти... А деревянные пальцы, словно и не её, медленно-медленно крутили коробок, поворачивая его картинкой кверху, чтобы не рассыпать спички. Выдвинули, и не с того конца, задвинули, выдвинули во второй раз, теперь с другого, долго-долго цепляли спичку. Когда зацепили и чиркнули, головка отломилась и отскочила далеко на снег, зашипела... Вторая спичка обломилась и даже не вспыхнула. Третья, четвертая...

10

Весь день с утра Агафон проворочался с боку на бок, так и не сомкнул глаз. То подымался, через силу. Глядел в окно. Сидел на лавке, подолгу откашливаясь. Снова валился в постель. Ходил по избе. А к ночи, когда углов в избе не видать стало, и вовсе встревожился. Заплутать в тех местах, куда ушла утром старая, вроде не мудрено. Так ведь не раз и не два на Починках вместе бывали?

Но убедить себя у Агафона не получалось.

Кой-как поднялся с постели, набросил на себя заношенный ватник, сунул ноги в бродни и, хватаясь за косяки, стены, отправился на крыльцо. Долго стоял там, с тревогой вглядываясь в темноту.

— В тайге — не дома. Мало ли случилось чего?.. Ох, неладно сделали. Зря, дурень старый, повёлся!

Старик вдел руки в рукава. Запахнул полы. «Жива ли, голубка? Эва, морозит-то как...»

Морозило изрядно, да ещё с ветром. Но он продолжал стоять. И вдруг... выстрел! Агафон охнул и наставил в сторону седое огромное ухо.

— Вроде недалече? По звуку полверсты, не больше того будет. Темень эдакая, по кому бы это?.. Да ведь знак подаёт старая. Никак стряслось чего? Повредилась, поди, не иначе.

Со стонами, скрипом старик начал собираться, отыскивая впотьмах, на ощупь, чего бы такое надеть. Наконец кой-как обулся-оделся и поковылял в сени — взять фонарь и, была не была, идти за Таволжанку, искать старуху. Но

пока, скрючившись, разыскивал этот распроклятый фонарь да начал заправлять его остатками керосина, вдруг снаружи послышался скрип наста, и через мгновение в окошке мелькнула и исчезла быстрая тень. Заскрипели ступеньки...

Агафон чиркнул спичкой, засветил фонарь и обернулся к двери. На пороге стояла старуха. Простоволосая, ни платка, ни шали, без рукавиц, вся в снегу. И глухарь... Она прижимала глухаря к груди, как ребеночка, крепко прижимала за стянутые гасником лапы.

Агафон вскинул фонарь над головой, шагнул к старухе. Она вдруг шатнулась в сторону, прижимая теснее птицу, выставила руку... Агафон стоял озадаченный.

— Да ты никак не в себе, а, мать?

С глухим мёрзлым стуком глухарь упал на пол.

— Тс-с!!!

Старуха хлопнула дверью, быстро накинута крючок. Постояла, озираясь, и мимо Агафона, крадучись, засемила к окну. Влипла носом в стекло.

— Тс-с... Волки...

На старухиной спине, на боках из зипуна ключьями торчала вата, свисали лоскутья. На-

конец она села, задёрнув занавески, обессиленно упала на лавку. Заплакала.

— Эко ведь запугала себя старая. Всё не в уме будто, — пробормотал Агафон, начиная понемногу соображать, в чём тут дело. — Да кабы волки, не сидеть бы теперь здесь...

И полез в шкафчик за самогонкой, что-то роняя там, гремя посудой. «Не надо... не надо одну-то пушать было. В одиночку человек легко разум теряет». Агафон засопел, захлопал носом и подозрительно долго возился, шарил в ненужном ему шкафчике. «Старому, вишь, дурню мясца захотелось. Ох, жаль моя... голубка. Дались же тебе эти волки».

...На другой день, глядя, как старуха ошипывает перед жаркой печью ошпаренного кипятком глухаря, он в который уже раз слушал про её приключения, хмыкал, крутил головой. Приходили весь день соседки, охали, вздыхали, уносили кто кусок ножки, кто крылышко. А ввечеру, обсасывая наконец-то глухариные косточки, Агафон глянул на широко разведённые бабкины руки, на азартно вытаращенные глаза, румяные щёки и поневоле усмехнулся. «А уж и врёт, поди-ко, старая, е-ей... В глаза врёт».

Тяжёлая Агафонова рука ласково опустилась на старухино плечо.

Лев Афанасьевич КОЖЕВНИКОВ —

автор книг для детей и взрослых, множества

публикаций. Пьесы в разное время были поставлены

и сегодня идут в театрах страны.

Член Союза писателей России. Заслуженный деятель

искусств Республики Татарстан. Лауреат всероссийских, республиканских и международных литературных премий.

